



10 (22) октября 1870 г. – 8 ноября 1953 г.

Мне хочется говорить не о себе, а следить за веком, за шумом и прорастанием времени. *Память моя враждебна всему личному.* Если бы от меня зависело, я бы только морщился, припоминая прошлое. Никогда я не мог понять Толстых и Аксаковых, Багровых-внуков, влюбленных в семейственные архивы с эпическими домашними воспоминаниями. Повторяю – память моя не любовна, а враждебна, и работает она не над воспроизведением, а над отстранением прошлого. *Разночинцу не нужна память, ему достаточно рассказать о книгах, которые он прочел, – и биография готова.*

(О.Э. Мандельштам «Шум времени»)

Там, где у счастливых поколений говорит эпос гекзаметрами и хроникой, там у меня стоит знак зиянья, и между мной и веком провал, ров, наполненный шумящим временем, место, отведенное для семьи и домашнего архива. *Что хотела сказать семья? Я не знаю. Она была косноязычна от рождения...*

(О.Э. Мандельштам «Шум времени»)

Мне хочется говорить не о себе, а следить за веком, за шумом и прорастанием времени. *Память моя враждебна всему личному.* Если бы от меня зависело, я бы только морщился, припоминая прошлое. Никогда я не мог понять Толстых и Аксаковых, Багровых-внуков, влюбленных в семейственные архивы с эпическими домашними воспоминаниями. Повторяю – память моя не любовна, а враждебна, и работает она не над воспроизведением, а над отстранением прошлого. *Разночинцу не нужна память, ему достаточно рассказать о книгах, которые он прочел, – и биография готова.*

(О.Э. Мандельштам «Шум времени»)

Когда в 60-х годах *пробудилась жизнь*, в России зашумела литература, издавалась масса новых книг, в Сибирь они выписывались отдельными личностями, запроса на библиотеки не было.

Потребности просыпались, но как? В одном городке бедный учитель, составив себе библиотеку, вздумал поделиться и сделал приглашение читать у него Шекспира, Гейне, Шиллера, Шлоссера и т.д., он прибавил даже о «неписанном наслаждении, которое можно встретить в этих авторах». Но такого чудака почли все помешанным. Это был город, где люди были образованные, но цель жизни была иная, здесь жили инженеры, шла картежная игра, и преисправно, грабя заводы, наживали сотни тысяч. <...>

Помню, что, остановившись в одном большом сибирском селе, я встретил в это время офеню-елабужца с коробом, где, рядом с серьгами, тесемками, бабьими приманками, лежал целый ряд букварей, святцев, псалтырей и самых грубых московских лубочных изданий.

– Чем вы торгуете? – спросил я елабужца.

– *Душевным товаром!* – отвечал он, улыбаясь.

(Н.М. Ядринцев «Из очерков общественной жизни на окраинах»)

Это было недавно, в царствование Александра II, в наше время – время цивилизации, прогресса, вопросов, возрождения России и т. д., и т. д.; в то время, когда победоносное русское войско возвращалось из сданного неприятелю Севастополя, когда вся Россия торжествовала уничтожение черноморского флота и белокаменная Москва встречала и поздравляла с этим счастливым событием остатки экипажей этого флота, подносила им добрую русскую чарку водки и, по доброму русскому обычаю, хлеб-соль и кланялась в ноги. <...> *когда появились журналы под самыми разнообразными знаменами, – журналы, развивающие европейские начала на европейской почве, но с русским мирозерцанием, и журналы, исключительно на русской почве, развивающие русские начала, однако с европейским мирозерцанием; когда появилось вдруг столько журналов, что, казалось, все названия были исчерпаны: и «Вестник», и «Слово», и «Беседа», и «Наблюдатель», и «Звезда», и «Орел» и много других, и, несмотря на то, всё являлись еще новые и новые названия; в то время, когда появились плеяды писателей, мыслителей, доказывавших, что наука бывает народна и не бывает народна и бывает ненародная и т. д., и плеяды писателей, художников, описывающих рощу и восход солнца, и грозу, и любовь русской девицы, и лень одного чиновника, и дурное поведение многих чиновников; в то время, когда со всех сторон появились **вопросы** (как называли в 56-м году все те стечения обстоятельств, в которых никто не мог добиться толку), явились вопросы кадетских корпусов, университетов, цензуры, изустного судопроизводства, финансовый, банковый, полицейский, эманципационный и много других; все старались отыскивать еще новые вопросы, все пытались разрешать их; писали, читали, говорили проекты, всё хотели исправить, уничтожить, переменить, и все россияне, как один человек, находились в неопisanном восторге.*

(Л.Н. Толстой «Декабрь»)

Возненавидел он и некоторые революционные песни, главным образом за фальшь, как например «Стеньку Разина» – о ней он уже писал – или «Из страны, страны далекой...» особенно его возмущали строки: «ради вольного труда, ради вольности веселой собралися мы сюда...»

– Хорош труд: пьют, поют, едят, без устали болтают и спорят, большинство из них бездельники! Всем возмущаются, всех критикуют, а сами?..

Задевал его и язык их, совсем иной, чем язык его семьи, соседей, мужиков, мещан, язык бледный, безобразный, испещренный иностранными словами и словечками, присущими этой среде, повторением одних и тех же фраз, например: «чем ночь темней, тем ярче звезды» или «бывали хуже времена, но не было подлей», «третьего не дано» и так далее.

(В.Н. Муромцева-Бунина «Жизнь с Буниным»)

«Нет никакой отдельной от нас природы, –
<...> каждое малейшее движение воздуха
есть движение нашей собственной жизни».

(И.А. Бунин «Жизнь Арсеньева»)

«Как эта скорбь и жажда – *быть* вселенной,
// Полями, морем, небом – мне близка!»

(И.А. Бунин «Памяти друга»)

И лежащу ми на одре моем и зазирающе себе, яко в таковыя великия дни правила не имею, но токмо по чоткам молитвы считаю, и Божиим благоволением в нощи вторыя недели, против пятка, *разпространился язык мой и бысть велик зело, потом и зубы быша велики, все и руки быша и ноги велики, потом и весь широк и пространен под небесем по всей земли разпространился, а потом Бог вместил в меня небо, и землю, и всю тварь.* Мне же, молитвы безпрестанно творящу и лествицу перебирающе в то время, и бысть того времени на полчаса и больши, и потом возставши ми от одра лехко и поклонившуся до земли Господеви, и после сего присещения Господня начах хлеб ясти во славу Богу. <...> ... аз же <...> не сподоблюся савана и гроба, но наги кости мои псами и птицами небесными растерзаны будут и по земле влачимы; так добро и любезно мне на земле лежати и светом одеяну и небом прикрыту быти; небо мое, земля моя, свет мой и вся тварь – Бог мне дал...

(Протопоп Аввакум. Челобитная царю Алексею Михайловичу)

Не литература, а *литературность*
ужасна; литературность души,
литературность жизни. То, что всякое
переживание переливается в играющее,
живое слово: но ЭТИМ всё и кончается, —
само *переживание* умерло, нет его.
Температура (человека, тела) остыла от
слова.

(В.В. Розанов «Опавшие листья»)

Оторванность от жизни, незнание ее,
книжность, литературищина – гибель от
нее: Бальмонт, Брюсов, Иванов, Горький,
Андреев. И это «новая» литература,
«добыча золотого руна»! *Копиисты,*
архивариусы! Подражание друг другу. Да
что же! Так легче писать...

(И.А. Бунин «Заметки о поэзии Брюсова»)

Блок нестерпимо поэтический поэт, у него, как у Бальмонта, почти никогда *нет ни одного словечка в простоте*, всё сверх всякой меры красиво, красноречиво, он не знает, не чувствует, что высоким стилем все можно опошлить.

(И.А. Бунин «Воспоминания»)

Не все ли равно, про кого говорить?
Заслуживает того каждый из живших на
земле.

(И.А. Бунин «Сны Чанга»)

Поэзия темна, в словах невыразима:

Как взволновал меня вот этот дикий скат.
Пустой кремнистый дол, загон овечьих стад,
Пастушеский костер и горький запах дыма!

Тревогой странною и радостью томимо,
Мне сердце говорит: «Вернись, вернись назад!» –
Дым на меня пахнул, как сладкий аромат,
И с завистью, с тоской я проезжаю мимо.

Поэзия не в том, совсем не в том, что свет

Поэзией зовет. Она в моем наследстве.

Чем я богаче им, тем больше – я поэт.

Я говорю себе, почуяв темный след
Того, что пращур мой воспринял в древнем детстве:
– Нет в мире разных душ и времени в нем нет!

(И.А. Бунин «В горах», 12 февраля 1916)

И.А. Бунин «Дикарь» (1907)

Над стремью скал – чернеющий орел.
За стремью – синь, туманное поморье.
Он как во сне к своей добыче шел
На этом поднебесном плоскогорье.

С отвесных скал летели вниз кусты,
Но дерзость их безумца не страшила:
Ему хотелось большей высоты –
И бездна смерти бездну довершила.

Ты знаешь, как глубоко в синеву
Уходит гриф, ужаленный стрелою?
И он напруг тугую тетиву –
И зашумели крылья над скалою,

И потонул в бездонном небе гриф,
И кровь, звездой упавшую оттуда
На берега, на известковый риф,
Смыл океан волною изумруда.

В. Хлебников «И и Э. Повесть каменного века» (1912)

«Где И?
В лесу дремучем
Мы тщетно мучим
Свои голоса.
Мы кличем И,
Но нет ея,
В слезах семья.
Уж полоса
Будит зари
Все жития, Сны бытия».

<...>

Уж белохвост
Проносит рыбу.
Могуч и прост,
Он сел на глыбу.
Мык раздался
Неведомого зверя.
Человек проголодался,
Взлетает тетеря.

удушающий, как полук в бане, и, как баня в субботу, набитый черными и шоколадными телами, которые только по бедрам прикрыты мокрыми от пота тряпицами! ...Качаются головы на этих телах, сидящих и стоящих в полутемном от наружных навесов над окнами вагонов, мчится полутемный вагон в бездне белого, ослепительного зноя, льющегося с неба на радостную, райски богатую землю, чутко отдается татаканье колес от цветущих, бесконечных лесных дебрей, летящих назад, мимо...<...> Какой бег, какой наглый и чудесный поезд, как властно прорезает он этот Эдем!

(И.А. Бунин. Записная книжка)

...Решительно пошел в каюту и, развязал набитый книгами чемодан, который мы с ненавистью таскали всю зиму по отелям в Египте, и торопливо стал отбирать прочитанное и не стоящее чтения. *А отобрав, стал бросать за борт и с большим облегчением смотреть, как развернувшаяся на лету книга плашмя падает на волну, качается, мокнет и уносится назад, в океан – навеки. <...>*

Всё читаю, читаю, бросая прочитанное за борт. <...>

*Дочитал «На воде» (Мопассана. – К.А.). <...>
Дочитав, бросил книгу за борт.*

(И.А. Бунин «Воды многие»)

«На своей девочке куст жасмину посадил!
<...> Доброго здоровья. *Всё читаете, всё книжки выдумываете?*» И вот я внезапно почувствовал это и очнулся от книжного наваждения, *отбросил книгу в солому* и с удивлением и радостью какими-то новыми глазами смотрю кругом...

(И.А. Бунин «Книга»)

Все дни, как раньше часто и особенно эти последние проклятые годы, м.б., уже погубившие меня, – мучения, порою отчаяние – *бесплодные поиски в воображении, попытки выдумать рассказ, – хотя зачем это? – и попытки пренебречь этим, а сделать что-то новое, давным-давно желанное и ни на что не хватает смелости, что ли, умения, силы (а м.б. и законных художественных оснований?)* – начать книгу, о которой мечтал Флобер «Книгу ни о чем», *без всякой внешней связи где бы излить свою душу, рассказать свою жизнь, то, что довелось видеть в этом мире, чувствовать, думать, любить, ненавидеть.*

(И.А. Бунин. Дневниковая запись 27 октября – 9 ноября 1921 г.)

«Русское слово» Сытина просило дать что-нибудь для пасхального номера. Как было не дать? «Русское слово» платило мне в те годы два рубля за строку. Но что дать? Что выдумать? И вот вдруг вспомнилось, что забрел я однажды зимой совсем случайно на одно маленькое кладбище на Капри и наткнулся на могильный крест с фотографическим портретом на выпуклом фарфоровом медальоне какой-то молоденькой девушки с *необыкновенно живыми, радостными глазами*. Девушки эту я тотчас сделал мысленно русской, Олей Мещерской, и, обмакнув перо в чернильницу, стал выдумывать рассказ...

(И.А. Бунин «О происхождении моих рассказов»)

Сперва такой *выдумкой* был ее брат <...>
она соединила всю свою душу с ним, с его
будущностью, которая почему-то
представлялась ей *блестящей*. Когда его
убили под Мукденом, она убеждала себя,
что она – *идейная труженица*.

(И.А. Бунин «Легкое дыхание»)

Книга (образ «легкого дыхания»): **невидимое**



Автор / читатель —→ **Герой** (Оля): **видимое**



Мир

Герои (Хвощинский и Лушка): невидимое



Автор / читатель —→ **Книга («Грамматика любви»
Демольера): видимое**



Мир

Мой племянник Коля Пушешников, большой любитель книг, редких особенно, приятель многих московских букинистов, добыл где-то и подарил мне маленькую книжечку под заглавием «Грамматика любви». Прочитав ее, *я вспомнил что-то смутное, что слышал* еще в ранней юности от моего отца о каком-то бедном помещике из числа наших соседей, помешавшемся на любви к одной из своих крепостных, и вскоре выдумал и написал рассказ с заглавием этой книжечки...

(И.А. Бунин «О происхождении моих рассказов»)

Книга (образ «легкого дыхания»): **невидимое**



Автор / читатель —→ **Герой** (Оля): **видимое**



Мир

Герои (Хвощинский и Лушка): невидимое



Автор / читатель —→ **Книга («Грамматика любви»
Демольера): видимое**



Мир

Тебе сердца любивших скажут:
«В преданьях сладостных живи!»
И внукам, правнукам *покажут*
Сию Грамматику любви.

(И.А. Бунин «Грамматика любви»)

...И<ван> А<лексеви<ч> стал объяснять, что его всегда влекло изображение женщины, доведенной до предела своей *«утробной сущности»*. Только мы называем это *утробностью*, а я там назвал это легким дыханьем. Такая наивность и легкость во всем, и в дерзости, и в смерти, и есть *«легкое дыхание»*, *недуманье*. Впрочем, не знаю. Странно, что этот рассказ нравился больше, чем *«Грамматика любви»*, а ведь последний куда лучше...

(Г. Кузнецова «Грасский дневник»)

Молчат гробницы, мумии и кости,—

Лишь слову жизнь дана:

Из древней тьмы, на мировом погосте,

Звучат лишь Письмена.

И нет у нас иного достоянья!

Умейте же беречь

Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,

Наш дар бессмертный — речь.

(И.А. Бунин «Слово»)